

Загадка Некрасова

«... Что же случилось со мною?
Как разгадаю себя?..»

Некрасов.

Некрасов, для людей моего поколѣнія, — дѣтство; самое раннее, почти младенчество. Некрасов, — без имени, конечно, — в пѣсенках: дѣдушка за винтом, мурлыкающей пріятно-непонятное: «разбиты всѣ привязанности...» или тетя за роляью: «жадно глядишь на дорогу...», «молодость стубила... два-три цвѣтка...» И сколько еще другого всякаго пѣнія! Это правда, что главное свойство поэзіи Некрасова — «пѣсенность». Не напѣвность, о, нѣтъ!, а именно пѣсенность (лучших вещей, конечно): критика отмѣтила ее справедливо. В пѣснях он тогда еще и оставался живым, да, пожалуй, в разных «крылатых» словечках и строках, которыя мы слышали от «больших» и так запомнили (дѣтская память!), что и через тридцать лѣтъ встрѣчаем, словно старых знакомых. Но и только. Во времена моего — нашего — дѣтства Некрасов, думается, был уже на кончинѣ. Научившись читать, мы читали его в хрестоматіях, и даже книжки его, но читали (я и мои сверстники) не как стихи, а как рассказы. «Влас», «Коробейники», «Саша» — развѣ не рассказы, довольно интересные? Стихи же совсѣм другое. Стихи — это Лермонтов; но и какая-нибудь случайная дрянь в случайном томикѣ, казавшаяся, по тогдашнему чувству, ближе к Лермонтову, чѣм к Некрасову. Сатиры его даже меня, с моей ранней склонностью к сатирическим стихам, к эпиграммѣ, глубоко не интересовали.

Впрочем, говоря о Некрасовѣ в своем — нашем — дѣтствѣ, я не останавливаюсь на частностях, беру общее положеніе.

Когда мы подросли, когда моими сверстниками (немного старшими) оказались студенты, эти студенты были, в промадном большинствѣ, еще типичная, буйно-«либеральная» (как тогда говорили) молодежь; в ней чувствовалась писаревщина, всякіе «завѣты», что угодно; вліянія же Некрасова, непосредственного во всяком случаѣ, совсѣм не замѣчалось. Он со своей «Музой глѣва и печали» был забыт. Народовольчество искало

своих форм, и дух его был далек от поэтических степеней и умиленій Некрасова. Молодежь расцвѣвала, при случаѣ, не «Бурлаков» (которых, кстати, уже и не было), не «Укажи мнѣ такую обитель», а развѣ «Есть на Волгѣ утес...» (и чье оно, это несчастное стихотвореніе?). Если же, на «либеральных» вечерах, ей приходилось слушать стихи — бурно аплодировала бѣлой бородѣ Плещеева (петрашевец!), его стихам «Вперед без страха и сомнѣнья!». Пользовалось успѣхом и «Море» Вейнберга, обличающее всякую «усталость и болѣзненную вялость».

Все это были отголоски шестидесятничества, когда литература, шедшая до того времени рука об руку с общественностью, была затоплена болѣе высокой ея волной. И надолго. А почему забыли Некрасова, который считался столько-же «общественником», сколько поэтом, на это есть свои, довольно сложные, причины.

Лишь в концѣ прошлаго вѣка литература начала свое мучительное возрожденіе. Высвободиться она могла только для новаго, отдѣльнаго существованія, с рѣзким отталкиваніем от общестственности. Процесс нормальный, хотя подчас и уродливый. Но в литературѣ возрождавшейся Некрасов оставался таким же забытым, как в современной общестственности: эта продолжала свой путь, занятая дальнѣйшим «оформленіем завѣтов». К новой литературѣ отношенія не имѣла; или, при случаѣ, имѣла враждебное.

Что же такое забытый Некрасов, кто он? Поэт и борец? То и другое? Или ни то, ни другое? Что он за человѣкъ?

Очень важно для человѣка его мѣсто во времени. Им многое опредѣляется; многое — но не все, будем помнить.

За нѣсколько лѣтъ до войны появились первыя изслѣдованія о Некрасовѣ, с новыми матеріалами. Один из завязавшихся им — Чуковский. Его работа осталась незаконченной; его разбор техники некрасовскаго стихосложенія нас сейчас не интересует; его собственные выводы и сужденія о человѣкѣ-поэтѣ узки, а кое-что преувеличено. Однако, многое в фактическом изслѣдованіи его цѣнно. Между прочим — опредѣленіе мѣста Некрасова во времени. Он, дѣйствительно, жил в двух эпохах. Начал жизнь в одной и как бы перенес ее, сам, в другую. Слишком извѣстно несходство эпохи сороковых годов с эпохой шестидесятых. Тонкій и шаткій мост соединяет их. Он хорошо знаком Некрасову. Первые друзья, — Тургенев, Грановскій, Герцен, Дружинин, — оставались близкими его сердцу даже тогда, когда отвернулись

от него; когда потянулся он к «новым мальчишкам», — Чернышевскому, Добролюбову, — вторым друзьям, которых не понимал... да понимал ли он, как слѣдует, и первых? Самая суть их, то, чѣм они, хорошо ли, плохо ли, жили и что эпоху обрашивало, все это было ему чуждо, было «не его». Люди сороковых годов, по своему утонченные (и слабые), кончали послѣ-пушкинскій період «барскаго культурничества». Примѣсь новой «гражданственности» по существу их не мѣняла. Некрасов, имѣя в себѣ кое-что и от них, был, однако, замѣшан на других дрожжах.

«Он принадлежал к двум эпохам, главное в нем — его двойственность», говорит Чуковский; — «он барин и плебей, поэт и гражданин»... Настаивает на «двойственности», думая, кажется, что дает ключ к пониманію всей человѣческой сущности Некрасова. Но если жизнь на рубежѣ двух эпох имѣла на него влияние, пусть и серьезное, — можно ли свести к этому влиянію его всего, с его дѣятельностью, характером и творчеством? А сказать «двойственность» — это ничего же сказать; это лишь желаніе упростить человѣка большой внутренней сложности.

Первые друзья Некрасова, культурники и гуманисты, не могли, в концѣ концов, не отвернуться от него. Внѣшніе поводы, личные и общественные придали только особый привкус разрыву. Без них было бы то же самое. Не «барство» отталкивало их от Некрасова: вѣдь в нем, рядом с «плебеем» жил и «барин». Не европеизм, тогдашнее «культурничество», хотя его в Некрасовѣ не имѣлось ни на грош. Ничто в отдѣльности, но все отталкивало их; ощущеніе, что это человѣкъ совѣм какой-то другой природы; другой природы и самая его «гражданственность».

У них были свои традиціи. Некрасов к ним не подходил, (да у него, кажется, никаких не было). С высоты этих традицій люди сороковых годов, сентиментальные и жесткіе («чувствительно-безсердечные») очень скоры были на суд и осужденіе. Углубляться не умѣли или не желали: было не в модѣ. Так повели они суд над Некрасовым и понемногу, один за другим, рѣшили всѣ: достоин «презрѣнія». Стихи? Как та кой человѣкъ может писать такіе стихи? Еще один повод для презрѣнія!

Даже Бѣлинскій, связанный с Некрасовым особо-нѣжной дружбой и долго не славившійся, кончил тѣм-же. А Бѣлинскій еще не всѣ «грѣхи» друга знал, рано умер. Но всѣх перегнал в презрѣніи и осужденіи Герцен. Правда, тут замѣшалось денежное дѣло его друга Огарева. Послѣднѣе Герцена тѣм не менѣе удивляет. Базалось бы, довольно минуты спокойнаго

разсужденія, чтобы увидѣть маловѣроятность обвиненій: Некрасов или нѣтъ, но человекъ на виду и сам притомъ состоятельный, вдругъ присваиваетъ чужія деньги, — плохо, будто бы, лежатъ. Да еще деньги чуть ли не друга и тоже не безызвѣстнаго! Любой человекъ с практическимъ смысломъ этого бы не сдѣлалъ, — развѣ клептоманъ.

Но спокойными разсужденіями в то время не занимались, особенно если дѣло шло о Некрасовѣ. Герцен, в письмахъ продолжаетъ называть его «воромъ». «Растоптать ногами этого негодяя!». Не пропускаетъ случая и вообще поиздѣваться надъ нимъ: «Некрасовъ в Римѣ! — пишетъ онъ Тургеневу. — Да вѣдь это шука в оперѣ!» (Словечко, весело подхваченное другими некрасовскими «друзьями»).

Герцен, человекъ несомнѣнно талантливый, — типичный сынъ сороковыхъ годовъ со всѣми присущими эпохѣ чертами (вплоть до сентиментальности и жестокости); онъ рѣдкій счастливецъ: сумѣлъ остаться «иконкой» для дѣлага ряда слѣдующихъ поколѣній.

А Некрасовъ не нашелъ ни счастья, ни покоя и у новыхъ друзей, — «новыхъ мальчиковъ». «Семинарское подворье!» насмѣхались надъ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ старые друзья поэта. Они его уже «презирали», однако, переходъ къ новымъ друзьямъ сочли «измѣной».

Много всякихъ измѣнъ поставлено на счетъ Некрасову. Что онѣ такое? Откуда? И не было ли в немъ самомъ чего-то до смерти неизмѣннаго? Это мы увидимъ, если увидимъ его такою, какою онъ былъ в дѣйствительности.

Шестидесятники, къ которымъ по колеблющемуся мостику перешелъ Некрасовъ, уже имѣли свои традиціи, и къ нимъ онъ тоже не подходилъ. Для этихъ людей онъ былъ слишкомъ «утонченъ»; разговоры съ «Музой» казались имъ дѣломъ малополезнымъ, — да еще такіе унылые! Любовнаго союза и тутъ не вышло. Исключеніе, можетъ быть, Чернышевскій: вплоть до ссылки онъ не измѣнилъ своего отношенія къ Некрасову. (Кое чѣмъ лишь тихо огорчался, рѣзкимъ обращеніемъ с Панаевой, напримѣръ). Но Чернышевскій самъ былъ природно-тонкій и глубокій человекъ: бѣлая ворона среди шестидесятниковъ. Онъ, конечно, не понималъ Некрасова; но, должно быть, прикасался порою, темно и горячо, къ темной глубинѣ своего несчастнаго друга.

Новѣйшіе изслѣдователи Некрасова поднимаютъ все тѣ же, старые вопросы: былъ ли онъ искрененъ в своей поэзіи? В своей

«гражданской скорби»? Настоящий ли он поэт? Чѣм объясняются противорѣчивые поступки его жизни? И наконец — как соединить его живую дѣятельность с состояніем транзиторнаго унынія, с постоянными, почти не покидающими его, душевными терзаніями?

Главный апологет Некрасова — Чуковский, — отвѣчает на все обстоятельно: конечно, искренен; конечно, поэт настоящий, подлинный, хотя и стоит особняком.

В подлинности его поэзіи, никто, пожалуй, не сомнѣвается: не только большой поэт, но даже настоящий поэт — лирик. Чего, напримѣр, стоит вот это, почти магическое стихотвореніе:

В столицах шум, гремятъ витіи,
Кипит словесная война.
А там, во глубинѣ Россіи,
Там вѣковая тишина.
Лишь вѣтер не дает покою
Вершинам придорожных ив.
Да изгибаются дугою,
Цѣлуясь с матерью-землею,
Колосья безконечных нив...

Противорѣчія Некрасова-человѣка Чуковскій объясняет все той же «двойственностью»: сын двух эпох. У него «нѣтъ метафизики», но она, по Чуковскому, ему и не нужна: слишком полно, жадно, любил земную жизнь, земную плоть. Идеалы его тут — «гомерическіе». Описаніе села Тарабогатай, его могучей сытости, веселья, всяческаго изобилія, — да вѣдь это рубенсовская картина! восхищается критик.

А вот что касается сплошного состоянья несчастья этого жизнелюба, унынія, или буйнотерзающей боли, «хандры», как двѣ капли воды похожей на предѣльное отчаяніе, это...

Но здѣсь Чуковскій вдруг останавливается. Простодушный критик стараго времени, какой-нибудь Скабичевскій, не затруднился бы: как, мол, не унывать, не печалиться, если видишь, что идеал еще далек. Если вмѣсто Тарабогатай — «холодно, голодно в нашем селеніи...» Можно и похандрить в ожиданіи лучших времен...

Но Чуковскій не так простодушен. Он сам же только что описал эту дикую «хандру» Некрасова; сам назвал его «г е н і е м у н ы н і я». Ему хочется найти свое объясненіе. Собрался, было, сослаться на плохое здоровье Некрасова, на физическія причины, — и опять остановился: нѣтъ, болѣзни, возраст, не причѣм: девятнадцатилѣтній здоровый юноша уже был тѣм же «ге-

нием унынія», так же терзал себя в такой же черной хандрѣ. Не лучше было и во дни расцвѣта его дѣятельности, и даже во времена счастливой, как будто, любви.

Именно внутреннія терзанія доводили его до болѣзни физической. До того-же, по свидѣтельству Чуковского, доводило и «вдохновеніе»; а развѣ в нем, — в созданіи лучших вещей, — Некрасов не гений унынія?

Он любил жизнь... Да, так любил, что либо катался в судорогах, ее проклиная, либо стонал над ней, уподобляясь своему кулику:

«Словно как мать над сыновней могилой
Стонет кулик над равниной унылой...»

Откуда это? Что это за странное несчастье? Сколько ни узнаем мы о Некрасовѣ фактического — остается какое-то туманное пятно, внутренняя в нем загадка. Современники о ней и не подозрѣвали; уж конечно, ничего не знал и он, — из сынов своего вѣка самый безсознательный! — только глухо и тяжело ее ощущал порою:

Что со мною случилось?
Как разгадаю себя?

Но мы глядим издалека. Неужели десятилѣтія, прошедшія с некрасовскихъ времен, Достоевскій, Толстой (тѣ, которыхъ Некрасов еще не знал) — не научили нас острѣе всматриваться во внутренняго человѣка? Попробуем всмотрѣться так в Некрасова.

Все в нем — крупно. «Могучія», по его собственному выраженію, страсти; большіе, разносторонніе дары. И вот что важно: сверхъ другихъ был послан Некрасову еще одинъ рѣдкій и страшный человѣческій дар. Страшный потому, что при темнотѣ сознанія (а она как раз была у Некрасова) он может развѣсть душу, превратить жизнь человѣка в непрерывное кровавое боренье.

Этот дар — Совѣсть.

Человѣческая совѣсть... Мы не удивляемся, мы привыкли к этому слову, принимаем его, когда рѣчь заходит о Толстом или когда мы слушаем самого Толстого. Были и до сих пор есть люди, думающіе, что Толстой своей «совѣстью» (переворотом) губил и погубил себя. Но Толстой и его совѣсть — почти

не примѣр: Толстой осознал, назвал ее; нашел уже на старости лѣтъ, послѣ сравнительно счастливой, независимой жизни в других условіях другой, не Некрасовской, эпохи. Оттого, или оттого, что его страсти не были так «могучи», как у Некрасова, Толстой, в сущности, не знал глубины его паденій, не знал, вѣроятно, и всей глубины его мук, — темной их непрерывности, во всяком случаѣ.

Совѣсть — странный дар. Кому какая мѣра ея дается? В Некрасовѣ она жила с дѣтства и все росла, хотя он о ней не думал. Тѣм была она страшнѣе: как слѣбая змѣя в сердцѣ. Он не умѣлъ защищаться от своих страстей, онѣ легко овладѣвали им; тѣм легче, что он искалъ каких нибудь «передышек»: забыть терзанія. И забывал... Но как же потом змѣя ему мстила!

«Я веду гнусную жизнь, — писал он молодому Толстому. — Безсонныя ночи отшибают память и соображенье... Да, я веду глупую и гнусную жизнь! И ей доволен (курс. подлинника), кромѣ иных минут, которыя за то горьки, но, видно, так уж нужно».

Некрасов никогда, ни перед кѣм и ни в чем, не оправдывался: он только просил прощенья. Родинѣ, друзьям, врагам, любимой женщинѣ он говорил «прости!» «Прости» было и послѣдним, невнятно прошептаннѣм словом его перед кончиной.

Совѣсть, — все она же! — вырастая, переплеснула через личное, пропитала его любовь к землѣ, к Россіи, к матери и, в мучительныя минуты «вдохновенья», сдѣлала его творцом неподражаемых стонов о родинѣ. Неужели это лишь пѣсни «гражданской скорби», как тогда говорили? Вслушаемся в них: поэт не отдѣляет родину-мать от себя самого; он мучается за нее и за себя вмѣстѣ, даже как бы ею и собою вмѣстѣ. Или вдруг вырывается воплем его «прости»:

Прости! То не пѣснь утѣшенія,
Я заставлю страдать тебя вновь.
Но я гибну! И ради спасенія
Я твою призываю любовь...

Вѣдъ этих пѣсен-стонов (а не в них ли его суть, он сам?) так называемая «гражданская скорбь» Некрасова условна, суховата, а главное — безпредметна. Пользуясь легкой способностью слагать стихи, он нанизывает безконечныя строчки. Он «бичует», он «негодует», «возмущается», но тѣм, собственно, и во имя чего — сам опредѣленно не знает. У него нѣтъ, как говорится, «убѣжденій», нѣтъ никакой практической линіи, а идеа-

лы смутны, (не идеал же, в самом дѣлѣ, Тарабогатай!). Он защищен против своих общественных «измѣн» так же, как против личных «падений», страстей. Но все чувствует — потом:

Тяжел мой крест. Уединенье,
Преступной совѣсти мученье...

Нѣтъ покоя и в свѣтлых минутах: и тогда —

Вспоминается пройденный путь,
С о в ѣ с т ь пѣсню свою заговѣвает...

Слово «совѣсть» почти так же часто повторяет он, как «прости», и в письмах, и в стихах. В эпосѣ, в поэмах, постоянно возвращается к тому же: падение-позор-покаяние. Влас «в армякѣ с открытым воротом» или в другой одеждѣ, в полѣ, в лѣсу, в городѣ, — преслѣдует поэта сквозь всѣ годы его жизни. И все увеличивается, как будто, тяжесть: «Тяжелый крест...» «Тяжелый год...» «Точит меня червь, точит... Очень тошно... Очень худо жить...»

«Всему этому есть причина, — пытается он догадаться, но прибавляет: — а может быть и нѣтъ...»

Непонятно, почему новѣйшіе апологеты Некрасова заняты главным образом тѣм, чтобы его оправдать. Именно — оправдать (вспомним, что он сам себя никогда не оправдывал). Чуковский даже первой своей задачей поставил это «оправданье» Некрасова; и подробно разбирает жизненные его «падения» и общественныя «измѣны»*.

* Кстати: желая доказать, что поступок Некрасова, поднесшаго, как известно, оду Муравьеву, ничего особеннаго в ту пору не представлял, критик пишет, красок не жалѣя, картину унижайнѣйшаго паденія русскаго общества: подлость, трусливое, варварски-глупое угодничество, лакейство, подхалимство, ползание перед царем на животѣ, захлебыванье во враньѣ... И это, мол, с верху до низу, такой русскій дух. Вряд ли понравилось бы Некрасову это оплеваніе Россіи... Но Чуковского легко оправдалъ: статья, под эффектным заглавіем «Поэт и палач», вышла при Соѣздах, в ту первую эру, когда подобный тон в писаніях о царской Россіи поощрялся. Особенно, если кое-гдѣ Ленина упомянуть, чего критик не забывает. Нынѣ эра другая. Писатели знают, что они всѣ, что бы ни писали, всегда подозрительны. Выйдя такая статья не 20 лѣтъ тому назад, а сегодня, чье-нибудь око усмотрѣло бы, пожалуй, в хлестком описаніи критика замаскированную картину современной Москвы...

Перед кѣм, собственно, оправдывают Некрасова? Перед людьми сороковых годов? Перед Тургеневым, перед иконой Герцена? Или перед шестидесятниками, Писаревыми и Базаровыми? Или думают, что Некрасов нуждается в оправданіи перед новой литературой начала вѣка?

Сороковые годы далеко, не слышат. Шестидесятники влились в общественность послѣдующих десятилѣтій, которая просто забыла Некрасова, и с поэзіей его, и с «грѣхами». А что касается новой литературы (предвоенной), то Чуковский произвел среди ея представителей анкету, которую и приложил к своей оправдательной статьѣ. Анкета — опять времен той же, первой совѣтской эры. Там и Гумилев (только что разстрѣлянный); к нему, к Ахматовой, Блоку, Сологубу, Вяч. Иванову и другим Чуковский предупредительно прибавил Маяковского, Горькаго и каких-то, вѣроятно, знаменитых в то время, поэтов октября, но сейчас никому невѣдомых. Оставим этих послѣдних в сторонѣ. А что отвѣтила Чуковскому настоящая новая литература? Отвѣт, в общем, единогласный: всѣ «любят», или в дѣтствѣ любили нѣкоторыя пьесы Некрасова; никто не признает его вліянія на собственное творчество; а жизнь его, поступки, «грѣхи» или «измѣны», — для всѣх «безразличны». Не интересуют.

Перед кѣм же, спрашивается, так старался бѣдный Чуковский оправдать Некрасова?

И зачѣм?

Если ни для кого не нужно это оправданіе, то для самого Некрасова меньше всѣх. Мы увидим (если захотим), что он был в правдѣ, даже в истинѣ, когда искал только прощенья. Оправданье ему было ни зачѣм не нужно.

Один современный критик, человек со вкусом, но страдающій склонностью къ парадоксам (всѣ мы чѣм нибудь «страдаем»), сказал однажды: «Некрасов — настоящий поэт-х р и с т і а н и н». Утвержденіе весьма сомнительное, неточное: какой же «христианин», без Христа и христианства? С этим словом надс бы обращаться осторожнѣе. Да оно нам, для Некрасова вовсе и ненужно, если правда, что ему был послан великій дар — Совѣсть, если в пѣснях его плачет она, и ею терзались его душа и тѣло. Не она ли подсказала — не уму, а сердцу его, что не нужно оправданья, нужно прощенье? И прощенье было ему — не то что дано, когда то там сразу, в предсмертный час, — оно давалось ему всякую минуту, на всякое его невнятное «прости».

Нѣтъ такой высоты, на которой можно было бы оправдаться, но нѣтъ и такой пропащей глубины, из которой человѣческое «спрости» не получило бы отвѣта.

Это прощенье (не наше, мы такъ прощать не умѣем) Некрасов зналъ и, не зная о нем, осязал его, чувствовал, какъ глухой и слѣпой чувствуетъ вѣтеръ, какъ больной чувствуетъ прикосновенье льда къ горячей головѣ. Такъ — только такъ — зналъ онъ и Сказавшаго: «не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, а больные», — Пришедшаго и для него, чтобы исцѣлять-прощать.

Наше же дѣло, — маленькое, человѣческое, — не судъ надъ Некрасовымъ, с осужденіемъ или оправданіемъ, а только взоръ на него понимающій, и простые, скромныя слова: большой поэт. Большой человѣкъ.

З. Н. ГИППИУС